

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ Орган правления Союза советских писателей СССР ГАЗЕТА

№ 84 (3268)

Четверг, 15 июля 1954 г.

Цена 40 коп.

Великий жизнелюбец

1. ...Хлебосовершенство его доходило до страсти. Стоило ему поселиться в деревне, и он тотчас же приглашал к себе кучу гостей. Многим это могло показаться безумием: человек только что выбился из многолетней нужды, ему приходится таким тяжким трудом содержать всю семью — и мать, и брата, и сестру, и отца, — у него нет ни гроша на завтрашний день, а он весь свой дом сверху донизу набивает гостями, и кормит их, и развлекает, и лечит! «Спали на диванах и по несколько человек во всех комнатах, — вспоминает его брат Михаил; — ночевали даже в сенях. Писатели, девицы — почитательницы таланта, земские деятели, местные врачи, какие-то дальние родственники... проходили сквозь Мелихово чередой».

«Ждем Иваненко. Приедет Суворин, буду приглашать Баранцевича. Конечно, Суворин приедет», — сообщил он Нате Линтваревой из Мелихова в 92-м году.

А заодно приглашал и ее. Причем из следующих его писем оказывалось, что, кроме этих пяти человек, он пригласил к себе и Лазарева-Грузинского, и Ежова, и Лейкина, и что у него уже гостит Левитан!

Зазывая к себе друзей и знакомых, он самыми горячими красками, как бы пародируя рекламу курорта, расписывал те наслаждения, которые их ожидают:

«Место здоровое, веселое, сытое, многолюдное...», «Теплее и красивее Крыма в сто раз...», «Коляска покойная, лошади очень сносные, дорога дивная, люди прекрасные во всех отношениях...», «Купанье грандиозное...».

Приглашал он к себе очень настойчиво, не допуская и мысли, что приглашаемый может не приехать к нему. «Я обязательно, на аркане притащу Вас к себе», — писал он беллетристу Щеглову. Большинство его приглашений были и вправду арканами, — такая чувствовалась в них настойчиво-неотразимая воля:

«Если не приедете, то поступите так гнусно, что никаких мук ада нехватит, чтобы наказать Вас».

Из книги «Чехов и его мастерство».

Необыкновенно скорый на знакомства и дружбы, он в первые же годы своей жизни в Москве перезнакомился буквально со всею Москвою, со всеми слоями московского общества, а заодно изучил и Бабкино, и Чикино, и Воскресенск, и Звенигород, и с гигантским аппетитом глотал все впечатления окружающей жизни.

И поэтому в молодых его письмах мы постоянно читаем:

«Был сейчас на скачках...», «Хожу в гости к монахам...», «Уеду на стеклянный завод...», «Буду все лето кружиться по Украине», «Бываю в камере мирового судьи...», «Был шафером у одного доктора...».

Без этой его феноменальной общительности, без этого жгучего интереса к биографиям, нравам, разговорам, профессиям сотен людей он, конечно, никогда не создал бы той грандиозной энциклопедии русского быта 80-х и 90-х годов, которая называется «мелкими рассказами» Чехова.

Если бы из всех этих рассказов, из многоглотного собрания его сочинений вдруг каким-нибудь чудом на московскую улицу хлынули все люди, изображенные там, все эти акушерки, актеры, портные, полицейские, арестанты, повара, богомолки, педагоги, помещики, протитутки, архиереи, циркачи (или, как они тогда назывались, циркисты), чиновники всех рангов и ведомств, крестьяне северных и южных губерний, генералы, банщики, инженеры, конокрады, монастырские служки, купцы, певчие, солдаты, свахи, фортепьянные настрайщики, пожарные, судебные следователи, дьяконы, профессора, пастухи, адвокаты, — произошла бы ужасная свалка, ибо столь густого многолюдства не могла бы вместить и самая широкая площадь.

Не верится, что все эти толпы людей, наполняющие чеховские книги, созданы одним человеком, что только два глаза, а не тысяча глаз с такой нечеловеческой зоркостью подсмотрели, запомнили и запечатали навек все это множество жестов, походов, улыбок, физиономий, одежд, и что не тысяча сердец, а всего лишь одно вместило в себе боли и радости этой громады людей.

И как весело ему было с людьми! С теми, кого он любил. А полюбить ему

было нетрудно, так как, хотя он был человек беспощадно насмешливый и каждого, казалось бы, видел насквозь, он при первом знакомстве с людьми почти всегда относился к ним с самой наивной доверчивостью. И потому в его письмах мы так часто читаем:

«Славный малый», «душа-человек», «великолепный парень», «симпатичный малый и прекрасный талант», «милый человечина, теплый», «семья великолепная, теплая, и я к ней сильно привязался», «чудное, в высшей степени доброе и кроткое создание», «человечина хороший и не без таланта» и т. д.

И до такой степени он был артефактный, хоровой человек, что даже писать он мечтал не в одиночку, а вместе с другими.

«Слушайте, Короленко... Будем вместе работать. Напишем драму. В четырех действиях. В две недели».

Хотя Короленко никогда никаких драм не писал и к театру не имел никаких отношений.

И Билибину:

«Давайте вместе напишем водевиль в двух действиях... Придумайте первое действие, а я второе».

И даже с Гольцевым, профессором-юристом, он не прочь засесть за писание драмы, «которую, пожалуй, и написали бы, коли тебе хочется. Мне хочется. Подумай-ка».

И путешествовать любил он в компании. В Иран он собирался вместе с сыном Суворина, в Африку — с Максимом Ковалевским, на Волгу — с Потапенко, в донецкие степи — с Плещеевым.

Работать с людьми и скитаться с людьми, но больше всего он любил веселиться с людьми.

Этого молодого, бессмертно-веселого хотя юному Чехову было отпущено столько, что, чуть только у него среди его тяжелых трудов выдавался хотя бы час передышки, веселье так и било из него, и невозможно было не хохотать вместе с ним.

Сунуть московскому гороховому в руки тяжелый арбуз, обмотанный толстой бумагой, и сказать ему с деловито-озабоченным видом: «Бомба!.. Неси в участок, да смотри: осторожнее», — или уверить наив-

ную до святости молодую писательницу, что его голуби с перьями кофейного цвета происходят от помеси голубя с кошкой, живущей на том же дворе, так как шерсть у этой кошки — точно такой же раскраски, — к этому его тянуло всегда.

Приехал он как-то с артистом Свободным и с компанией других приятелей в маленький городишко Ахтырку. Остановились в гостинице. Свободный, талантливый характерный актер, стал разыгрывать важного графа, заставляя трепетать всю гостиницу, а Чехов взял на себя роль его лакея и создал такой художественно убедительный образ балованного графского холуя, что люди, бывшие свидетелями этой игры, и через сорок лет вспоминая о ней, не могли удержаться от смеха.

Даже усталых и старых приобщал он к своей неутоимой веселости. Долго не мог опомниться старик Григорович, нечаянно попавший в самый разгар кутерьмы, которую вместе со своими гостями устроил Чехов у себя на московской квартире. В эту молодую кутерьму, в конце концов, втянулся и он, автор «Антоня Горемыки», седой патриарх, а потом вспоминал о ней с комическим ужасом:

— Если бы вы только знали, что там у Чеховых происходит! Вакханалия, настоящая вакханалия!

Всех изумляла тогда свобода и легкость, с которыми бьющая в нем через край могучая энергия творчества воплощалась в несметное множество бесконечно разнообразных рассказов. С самой ранней юности, лет девять—двенадцать подрип, Чехов работал, как фабрика, не зная ни минуты простоя, выбрасывая горы продукции, и хотя среди этой продукции на самых первых порах было немалое количество брака, в скором времени Чехов, нисколько не снижая своих темпов, стал выпускать, как будто по конвейеру, бесперебойно, одна за другой, целые десятки шедевров, написанных с такой виртуозностью, что иному, даже крупному таланту понадобилось бы на каждый из них никак не меньше полугода работы. А он создавал их без малейшей натуги, чуть не ежедневно, один за другим: и «Орден», и «Хирургию», и «Канитель», и «Лошадиную фамилию», и «Дочь Альбиона», и «Шило в мешке», и «Живую хронологию», и «Аптекарьшу», и «Женское счастье», и массу других, и в каждом из них уже восьмое десятилетие живет его неумолкающий хохот.

«Чехова, тоже приложение, прочитал две книжки, хохотал, как чорт, — писал Максиму Горькому какой-то крестьянин. — Матери с женой читал — то же самое: разливаются, хохочут. Вот — и смешно, а мило!».

Через столько мировых катастроф, через три войны, через три революции прошла эта юмористика Чехова. Сколько позавидно прославленных книг, сколько сменилось литературных течений, а эти чеховские «однодневки», как ни в чем не бывало, живут и живут до сих пор и радуют внуков такую же радостью, какою радовали дедов и отцов.

2. ...Когда же этот счастливейший из русских великих талантов, заживший своей бессмертной веселостью не только современников, но и миллионы еще не рожденных потомков, заплакал от невыносимой тоски, вызванной в нем «проклятой расейской действительностью», он и здесь обнаружил свою могучую власть над людьми.

Даже молодой Максим Горький, совершенно не склонный в те годы к слезам, и тот поддался этой власти. Вскоре после появления в печати чеховского рассказа «В овраге» Горький сообщил Чехову из Полтавской губернии:

«Читал я мужикам «В овраге». Если бы вы видели, как это хорошо вышло! Заплакали хохлы, и я заплакал с ними».

Это свое участие в чеховской скорби Горький отмечал тогда не раз:

«Сколько дивных минут прожил я над вашими книжками, сколько раз плакал над ними». — писал он Чехову еще в первом письме.

И снова через несколько лет:

«На днях смотрел «Дядю Ваню», смотрел и — плакал как баба, хотя я человек далеко не нервный...».

Горький любил «Дядю Ваню», ходил смотреть его несколько раз и после тридцати лет представления пьесы сообщил Чехову:

«И плакала публика и актеры».

Таково было могущество чеховской скорби: даже профессионалы-актеры после полусотни репетиций, после тридцати девяти представлений, когда пьеса давно уже стала для них ежедневной привычкой, не могут — вместе со зрителями — удержаться от слез!

Ибо то, что многие — главным образом реакционные — критики предпочитали считать мягкой элегической жалобой, на самом деле было скорбным проклятием всему бездушному и бездарному строю, создавшему Цыбукиных, Ионычей, человек в футляре...

Словом, в скорби Чехов оказался так же могуч, как и в радости, и там и здесь, на этих двух полюсах человеческих чувств, у него равновеликая власть над сердцами.

...Но и в грусти и в радости до последнего вздоха оставалось при нем его художническое восхищение миром, которое, в виде чудесной награды, смолоду дается великим поэтам и не покидает их в самые черные дни.

«Так, знаешь, весело было глядеть в окно на темневшие деревья, на реку...», «То есть душу можно отдать нечистому за удовольствие поглядеть на теплосеверное небо, на речки и лужицы...».

Природа для него — всегда событие, и, говоря о ней, он, столь богатый словами, чаще всего находил лишь один эпитет: изумительная.

«...Днем валит снег, а ночью во всю ливановскую светит луна, роскошная изумительная луна. Великолепно».

«...В природе происходит нечто изумительное, трогательное, что окупает своей поэзией и новизною все неудобства жизни. Каждый день сюрпризы одна лучше другого. Прилетели скворцы, везде журчит вода, на проталинах уже зеленеет трава».

Огромна во всех его письмах эта интенсивность восхищения природой:

«...Природа удивительная до бешенства и отчаяния... Подлец я за то, что не умею рисовать...».

«...Погода изумительная. Цветут розы и астры, летят журавли, кричат перелетные щеглы и дрозды. Один восторг».

«Две трети дороги пришлось ехать лесом, под луной, и самочувствие у меня было удивительное, какого давно уже не было, точно я возвращался со свидания...».

Связь его с природою была так неразрывна, что он в своих письмах либо проклинал ее, либо радовался ей до восторга, но никогда не испытывал равнодушия к ней.

Равнодушные вообще было чуждо ему, иначе он не был бы великим художником.

С полным правом он мог бы сказать о себе то, что говорит один из его персонажей:

«Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все, доступное человеку. Мне хотелось и говорить, и читать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать. Меня тянуло и на Невский, и в поле, и в море — всюду, куда хватало мое воображение».

Это не беллетристика, а подлинное чеховское чувство, присущее ему во все времена. «Мне теперь так сильно хочется всякой всячины...» писал он, например, в 1894 году. — Так бы, кажется, все съел: и за границу, и хороший роман. И какая-то сила, точно предчувствие, торопит, чтобы я спешил...». «Мне хочется жить, и куда-то тянет меня какая-то сила. Надо бы в Испанию и в Африку».

Позднее, в 900-м году, уже скованный смертельной болезнью, он писал А. М. Горькому:

«Я бы на вашем месте в Индию укатил, черт знает куда, я бы еще два факультета прошел».

И как горячо возразил он на угрюмую толстовскую притчу «Много ли человеку земли нужно», где доказывалось, что человеку, хотя он и мечтает о захвате необъятных пространств, нужны только те три аршина, которые будут отведены для его погребения:

«Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку... Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».

Сам Чехов уже к тридцатилетнему возрасту побывал и во Владивостоке, и на Гонг-Конге, и на Цейлоне, и в Сингапуре, и в Стамбуле, и в Индии, и еще не успел отдохнуть после этой поездки, как уже отправился в Вену, в Венецию, в Милан, во Флоренцию, в Рим, в Неаполь, в Монте-Карло, в Париж.

...Его отношения к природе отнюдь не ограничивались пассивным созерцанием ее «богатств» и «роскошей». Ему было мало художнически любоваться пейзажем, он и в пейзаж вносил свою неуклонную волю к созидательному преобразованию жизни. Никогда не мог он допустить, чтобы почва вокруг него оставалась бесплодной, и со страстью трудился над озеленением земли.

Образ лесовода-романтика, поэтически влюбленного в деревья, был настолько дорог Чехову, что на протяжении нескольких лет он обращался к этому образу трижды.

Сначала — в письме к Суворину, где лесовод появляется в качестве «пейзажиста» Коровина, который в детстве посадил у себя во дворе небольшую березку.

Потом возникает помещик Хрущев, который так любит леса и хлопочет о спасении каждого дерева, что соседи зовут его Лешим.

Потом в «Дяде Ване» Хрущев преобразается в доктора Астрова, который говорит вслед за Лешим: «когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю... что, если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я».

Все это Чехов мог бы сказать о себе, потому что в деле озеленения земли, как и во всем остальном, был неутомимо активен. Еще гимназистом он насадил у себя в Таганроге небольшой виноградник, под сенью которого любил отдыхать. А когда поселился в разоренном и обглоданном Мелихове, он посадил там около тысячи вишневых деревьев и засеял голые лесные участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами, лиственницами — и Мелихово все зазеленело.

А через несколько лет, поселившись в Крыму, на выжженном пыльном участке он с таким же увлечением сажает и черешни, и шелковицы, и пальмы, и кипарисы, и сирень, и крыжовник, и вишни.

Никогда не угасала в нем потребность сеять, сажать, растить. «Мне кажется», — пишет он в 1900 году, — что я, если бы не литература, мог бы быть садовником».

Недаром главным героем своей предсмертной поэтической пьесы он сделал вишневый сад — «весь белый», «молодой», «полный счастья».

Когда Чехов сообщил Станиславскому, что пьеса так и будет называться «Вишневый сад», он, к удивлению Константина Сергеевича, закатился радостным смехом, и Станиславскому стало понятно, что «речь шла о чем-то прекрасном, нежно любимом».

И не только к озеленению земли чувствовал он такую горячую склонность, но ко всякому творческому вмешательству в жизнь.

Натура жизнеутверждающая, неистощимо активная, он стремился не только описывать жизнь, но и переделывать, строить ее. То он хлопочет об устройстве в Москве первого Народного дома с читальней, библиотекой, аудиторией, театром. То добивается, чтобы тут же, в Москве, была построена клиника кожных болезней. То хлопочет об устройстве в Крыму первой биологической станции. То собирает книги для всех сахалинских школ и шлет их туда целыми партиями. То строит недалеко от Москвы одну за другой три школы для крестьянских детей, а заодно и пожарный сарай для крестьян. И позже, поселившись в Крыму, строит там четвертую школу.

Вообще всякое строительство увлекает его, так как оно, по его представлению, всегда увеличивает сумму человеческого счастья.

«Помню его детскую радость», — говорит Станиславский, — когда я рассказал ему однажды о большом строящемся доме у Красных Ворот в Москве взамен плохонького одноэтажного особняка, который был снесен. Об этом событии Антон Павлович долго после рассказывал с восторгом всем, кто приходил его навещать...».

И мало кому известно, что именно Чехов поставил в Таганроге памятник Петру Первому (на Приморском бульваре). Он вел для этого в Париже переговоры с самим Антокольским, он убедил Антокольского пожертвовать вылепленную им статую городу, он организовал ее отливку и бесплатную доставку через Марсельский порт в Таганрог, он выбрал для нее наилучшее место и заранее радовался такому великолепному украшению города.

А когда он затеял устроить в родном Таганроге общественную библиотеку таких широких масштабов, какие и не снились в ту пору окраинным «заштатным» городам, он четырнадцать лет подряд посылал ей тюками и ящиками закупаемые им груды книг, причем и тут действовал со своею обычною щедростью.

А его работа в качестве земского врача на холере, когда он один, без помощников, должен был обслуживать двадцать пять деревень! А помощь голодающим в неурожайные годы! А работа во время воссоединительной статистической переписи! А его многолетняя лечебная практика, главным образом, среди подмосковных крестьян!

По свидетельству его сестры Марии Пав-

ловны, которая была у него фельдшерницей, он принимал у себя в усадьбе ежегодно свыше тысячи больных крестьян совершенно бесплатно, да еще снабжал каждого из них лекарствами.

Здесь я говорю не только о его доброте, а опять-таки о его колоссальной энергии, о его страстном стремлении к самому активному вмешательству в жизнь ради того, чтобы люди зажили умнее и счастливее.

Если бы я захотел перечислить все стихотворения, романы, рассказы и повести, которые он пристраивал в разных редакциях, можно было бы подумать, что я пишу не об одном человеке, загруженном по горло работой, а о крупном, хорошо организованном литературном агентстве с целым штатом энергичных сотрудников и отлично налаженной логистикой.

Начинающая беллетристка Шаврова прислала ему не три, не четыре, а девять рассказов — девять рассказов один за другим! Он много возился с каждым, поправлял их, рассылал по редакциям и, в конце концов, обратился к ней с просьбой:

«Напишите еще 20 рассказов и притихните. Я все прочту с удовольствием...».

И он не ограничивался ролью пассивного оценщика рукописи, а сам с обычной своей страстной энергией вмешивался в творческий процесс того автора, который обращался к нему за советом, и щедро дарил ему свои собственные краски и образы.

Его активная повседневная забота об отдельных людях всегда сочеталась у него с широкой борьбой за счастье угнетенных масс. Что такое его «Остров Сахалин», «Человек в футляре», «Поныч», «Моя жизнь», «Палата № 6», «Мужики», «В овраге», как не обвинительный акт против всего тогдашнего бесчеловечного строя?

Но при этом он хорошо сознавал, что участие в борьбе против социальной неправды не освобождает нас от забот о каждом, кто нуждается в помощи. Никогда не забывал он, что любовь к человечеству лишь тогда плодотворна, когда она сочетается с живым участием в судьбах отдельных людей. Даже простые люди, никогда не читавшие Чехова, чувствовали в нем своего «сострадальца». Куприн рассказывает, что когда в Ялте в присутствии Чехова на борту парохода какой-то Пришибеев ударил по лицу одного из носильщиков, тот закричал на всю пристань:

— Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты — вот кого ударил!

И указал на Чехова, потому что понимал, что для Чехова чужая боль — своя. Восхищаясь этими изумительными отношениями Чехова к людям, надо подчеркнуть и выставить возможно рельефнее не его нежность и ласковость, которые и без того очевидны, а неистощимость его жизненных сил, сказывающуюся во всех его действиях.

В литературе он работал, как фабрика. Людям помогал так неутомимо и деятельно, словно был не человек, а учреждение. Это — первое, что нужно сказать о нем: человек феноменальной энергии, необыкновенных душевных ресурсов.

И его творческое вмешательство в жизнь, эти его школы, сады, библиотеки, постройки, которым отдавал он весь свой случайный досуг, также неопровержимо свидетельствуют об избытке его созидательных сил.

3. ...Из всех людей, когда-либо встречавшихся с Чеховым, не было, кажется, ни одного, кто, вспоминая о нем, не отметил бы глубоко народной черты его характера: лютой ненависти к самовозвеличению и чванству.

Он словно задачу перед собою поставил: не выпячивать ни перед кем своего я, не угнетать никого своими заслугами, своим превосходством.

И когда печаталось полное собрание его сочинений, он, как об особой услуге, просил издателя не печатать при этом собрании ни его портрета, ни его биографии. И настаивал на своем. Его биографии в этом издании нет, хотя давняя традиция требовала, чтобы на первых страницах первого тома полного собрания сочинений непременно была биография автора.

«В Париже хотел ленин меня известный скульптор Бернштам, — и я не дался», — сообщает он в 98-м году Норданову.

И переберите все фото, где он вместе с другими людьми. Почти всегда, за двумя или тремя исключениями, он в тени, сзади всех, за спиной у других или, в лучшем случае, сбоку. Сидеть в центре какой-нибудь группы, в качестве первой фигуры, было ему нестерпимо. Вся жизнь он свято выполнял то суровое правило, которое еще юношей предписал своему слабому брату, наставляя не только его, но и себя самого: «Истинные таланты всегда сидят

в потемках, в толпе, подальше от выставок».

Вообще было бы неплохо, если бы молодые писатели, подробно изучив биографию Чехова, сделали ее образцом своего поведения, потому что эта биография есть прежде всего учебник писательской скромности.

В январе 900-го года Академия наук избрала его своим почетным членом. Но лишь однажды он подписался под шуточным домашним письмом: «Академик Тото», да чуть было не вписал свое высокое звание в паспорт жене:

«Хотел я сначала сделать тебя женою «почетного академика», но потом решил, что быть женою лекаря куда приятнее».

И написал: «жена лекаря».

Одно лишь условие поставил он той библиотеке, которой жертвовал тысячи книг: «пожалуйста, никому не говорите о моем участии в делах библиотеки».

А когда библиотека попросила его, чтобы он прислал ей свою фотографию, он пообещал ей прислать фотографию Альфонса Доде.

...Он хорошо понимал, что лишь тот писатель вправе призывать к благородству других, который сам благороден. Нельзя быть гуманистом только в книгах. И не потому ли так огромно гуманизирующее влияние всех его книг, обличавших тогдашнюю душегубную жизнь, что за этими книгами мы чувствуем автора, одного из тех изумительных писателей-проповедников, которыми перед всем человечеством славится наша страна?..

Вот почему для советских людей Чехов — такой близкий, родной человек: великий жизнелюбец, неутомимый строитель, щедрый озеленитель земли, исколесивший ее всю от Невы до Амура, человек неиссякающей энергии, страстно восстававший каждой строкой своих книг против тогдашней душегубной действительности, скромный в своем величии, застенчивый в своем героизме. — Он всей своей обаятельной личностью стоит перед нами, как ранний предтеча того многомиллионного племени советских людей, которые, перестраивая весь уклад своей жизни, тем самым перестроили себя.

Корней ЧУКОВСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

№ 84

15 июля 1954 г.

3